

ОДЕССА

Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница», там говорят — «две большие разницы» и еще: «тудою и сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи. Подумайте — город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями — создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит — противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты — в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще — одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть (*qui sait?*¹), единственного

¹ Кто знает? (*фр.*)

в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, — одесских певец (я говорю об Изе Кремер) с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным — то грустным, то трогательным — чувством жизни; хорошей, скверной и необыкновенно — *quand même et malgré tout*¹, — интересной.

Я видел Уточкина, одессита *pur sang*², беззаботного и глупого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукое, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий, заел, говорят, после того, как он упал с самолета где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешечком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные тела «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем.

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин... За кустами их напудренных, разжиревших от безделья

¹ Все же и несмотря ни на что (*фр.*).

² Чистокровный (*фр.*).



и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе «люди воздуха» рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку — «человеку воздуха»?

В Одессе есть порт, а в порту — пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания — поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

«Одесса, — в конце концов скажет читатель, — такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны».

Так-то так, и пристрастен я, действительно, и может быть, намеренно, но, *parole d'honneur*¹, в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна — все это верно, — но все же, *quand même en malgrê tout*, необыкновенно, необыкновенно интересна.

От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?

Тургенев воспел росистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши — забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суете. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украйны? Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — Нос, Шинель, Портрет и Записки Сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужающей властью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим

¹ Честное слово (*фр.*).



в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, — был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее.

Горький — предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины: если о чем-нибудь стоит петь, то знайте: это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы; только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие.

Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и в Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает — почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький — предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча.

А вот Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть — все знает; громыкает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают — это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыкает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все. В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонечкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут всё это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонечкой и Вологодской губерниях.

Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже, м[ожет] б[ыть], «к кресту на Святой Софии» таятся важнейшие пути для России.

Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем.



ЛИСТКИ ОБ ОДЕССЕ

ПЕРВЫЙ

В Одессе есть два клуба, имеющих отношение к искусству. Один — Литературка, Литературно-Артистическое общество, другой называется Семейным собранием тружеников сцены или что-то в этом роде. В первом собираются настоящие артисты, настоящие журналисты, надушенные барышни, надушенные дамы, толстые буржуа, тонкие молодые люди. Другой создан куплетистами, имитаторами, маленькими танцовщицами, жуликоватыми администраторами и королевами бриллиантов. Литературка, может быть, прекрасное учреждение, но сердце мое лежит к маленькому клубу. — Никто в нем никогда, может быть, не слышал об акмеистах, о стихах Ахматовой, о Незнакомке Блока, но, говоря по совести, акмеисты есть и не будут, Ахматова сладостно встревожит утонченные сердца и угаснет, а угаснет ли — *la bonne chose*¹ — веселая любовь, угаснет ли нескладная сказка об умирающем солдате, забудется ли плачевная повесть о толстяке, о толстяке столь толстом, что любовь — *la bonne chose* — становится ему, увы, не под силу. В своем кабаре имитаторы и администраторы говорят о вечных вещах, плачутся на дороговизну, выбивают дробь подошвами и убедительно требуют мира. Нынче они пацифисты, раньше были милитаристами. Раньше публика любила мирную и залихватскую песню о голубых занавесках, о жгучих объятиях городских дам с усатыми молодцами-ротмистрами, а нынче нет дров и надо же поговорить по душевному — убивать худо, немцы рабочие люди, довольно белых крестов на безвестных дорогах, хватит с вас империалистов и Константинополей. Так думает публика, так думают куплетисты. Куплетисты знают свою публику, знает ли публика их?

Давайте побродим по залу и посмотрим на «тружеников сцены». Можно сказать сразу — революция не обошла их и одарила прекраснейшим своим благом — великолепным

¹ Прекрасная вещь (*фр.*).



чувством товарищества. Чем были они раньше? Тревожными приживалами толпы, рассеянными по окраинным сценам, отданные во власть невежественных кулаков. Если исключить веселье, родившееся с нами, и многочисленные и преходящие обиды — что осталось бы от их багажа?

Теперь же после дня работы и соперничества они могут в клубе своего Союза, подержав друг друга за пуговицы, вдохновенно поспорить на живописном одесском языке о повестке дня. (А ведь никто не догадывался раньше, что повестка дня может придти к чревоушателю). Они могут сделать себя председателями, товарищами председателя и взорвать мирное течение жизни конфликтом на принципиальной — *nom de Dieu*¹ — почве. Эти люди по-настоящему любят свой Союз и с наслаждением, с азартом играют в председателей и конфликты. Они удосужились, наконец, спеть друг для друга, постучать подошвами друг для друга и съесть у себя, в своем *nom*² дежурное блюдо за 1 р. 25 к. — малороссийские колбаски с капустой. Этим людям есть за что любить свой Союз.

* * *

Куплетисты бывают двух родов — одни сами пишут для себя куплеты, другим пишут присяжные пииты. Если нужно, куплеты стряпаются тут же на месте за двадцать пять рублей. Тарелка с колбасками отодвигается, заказчик поет рефрен и — даст же бог человеку такой талант — стихи льются, а певец смотрит на писателя нежно и уважительно. Еще уважительнее относятся к поэтам женщины — *diseuses*³ — они ведь совсем беззащитны. Вот сидят они — белые и доверчивые или черные и востроносые и покойно ждут; перед ними склонилась лысая голова необходимого человека, карандаш бегаёт по бумаге и через несколько дней «Эдисон» в Херсоне или «Радио» в Кишиневе будут образованы новыми птицами, новыми песнями.

В клубе очень много одесских, разбитых еврейских прожженных в горниле быстрой жизни мальчиков. Они носят

¹ Божье имя (*фр.*).

² Дом (*фр.*).

³ Рассказчицы (*фр.*).



«френчи», теплые кепи, на многих многозначительно и изящно красуются георгиевские ленточки, потому что они умеют быть храбрыми — эти одесские мальчики.

Знаете ли вы их биографию? Она не сложна. Они родились на Молдаванке или на Базарной. Отец их маклер, «человек воздуха», мать — многосемейная, толстая, крикливая еврейка. Где получают эти дети воспитание? О, у нас есть Городской театр, кинематографисты с дивертисментами, гимназии со словесностью и бильярды, насыщенные греками, старичками, мазунами и арапами. В этих учреждениях любознательный, чего-нибудь стоящий мальчик получит наилучшее в мире воспитание. У Городского театра, в Театральном переулке, против много говорящей нашему сердцу Северной, есть заветная решетка. У решетки этой растягиваются хвостом люди, для того, чтобы получить билет на галерку. У решетки степенно, а иногда и нестепенно ходят барышники и таинственно ведут переговоры с решительными уличными мальчишками. В хорошую погоду, когда сияет наше солнце, пахнущее морем из Карантинной гавани и цветами с Екатерининской, окна Северной раскрываются и на подоконники ложатся шансонетки, только что проснувшиеся — теперь 12 часов и сияет солнце, — шансонетки с золотистыми волосами, с белыми плечами, сытые, нежные, заграничные, теплые после ночи любви с папенькиным сынком. И мальчики у решетки знают, кто такая эта шансонетка, я скажу вам, что они знают, сколько бумажек надо положить под батистовую наволочку этой золотистой заграничной женщине.

Эти мальчики, отцы у которых маклера, неизменно поступают в первый класс гимназии — маклера любят образование, это знает всякий. Мальчик проделывает два класса, но ему душно в покойных стенах, он веселый человек — и скоро его приветствует, принимает в свое лоно державная одесская улица, синематограф с дивертисментом, бильярдная с арапами. Наш мальчик любил театр, умея говорить по-одесски, жизнь текла быстро — она ведь наполнена радостями и колкими, быстро улетающими печальями, — и вот теперь он ходит в коричневом кепи, имеет свой Союз, своего председателя,



свою подругу, своего директора, своего писателя, свой «Эдисон» или «Орион» и свое веселье, возвращенное улицей.

У столика сидит «директор» Андр. Любецкий. (Нет нужды напоминать нам, что его зовут Абр. Якрес.) Рядом с Любецким — куплетист, Орловский; рядом с куплетистом — агент Р.

Агент молчит, но лицо его исполнено выразительности. Оно говорит вот что: «Все вы жулики. Я это знаю. Я помолчу, но деньги вы мне заплатите, иначе я вытряхну из вас внутренности. Помолчим, послушаем. Все вы жулики и я жулик». Так думает агент. Директор сидит с угнетенным лицом, тоскующим о несправедливости людской.

— Ты безумной души человек, Андрюша, — говорит ему автор-куплетист. — Ты необычайной души человек, Андрюша. Ты дал ему десять, ты не должен дать больше. Прошу тебя, Андрюша, убеди себя, что с твоей душой ты не проживешь. С волками жить, Андрюша, по-волчьи выть.

Андрей Якрес слушает — Андрей умилен. Он растроган.

Андрюша во время японской кампании — был в Вержболове, во время немецкой кампании был в Харбине, Андрюша торговал хирургической резиной, состоял агентом на предмет присуждения наград на выставках, Андрюша призывался после революции на 41 году безгрешной жизни, он строит теперь «Свободный театр для пролетариата» — и все же он умилен своей добротой.

— Ты безумной души человек, Андрюша, — говорит ему автор-куплетист.

Иду дальше. В уголку киснет Раскатов — безработный человек. Длинный нос его уныло смотрит кончиком в землю. Он съел уже дежурное блюдо, теперь пьет бледный чай. Емкость ужина — полтора рубля в долг.

На руках у Раскатова прыщи.

— Что это, Сема? — спрашиваю я.

— Кровь у меня кипит, — отвечает Сема. — Был у доктора. Он говорит — вам надо утилизировать женщин. Но когда я безработный? Сойдешься, потом не отстанет, я же необыкновенный. Это всякий знает, что я необыкновенный, — грустно подтверждает Сема, — они ко мне липнут,